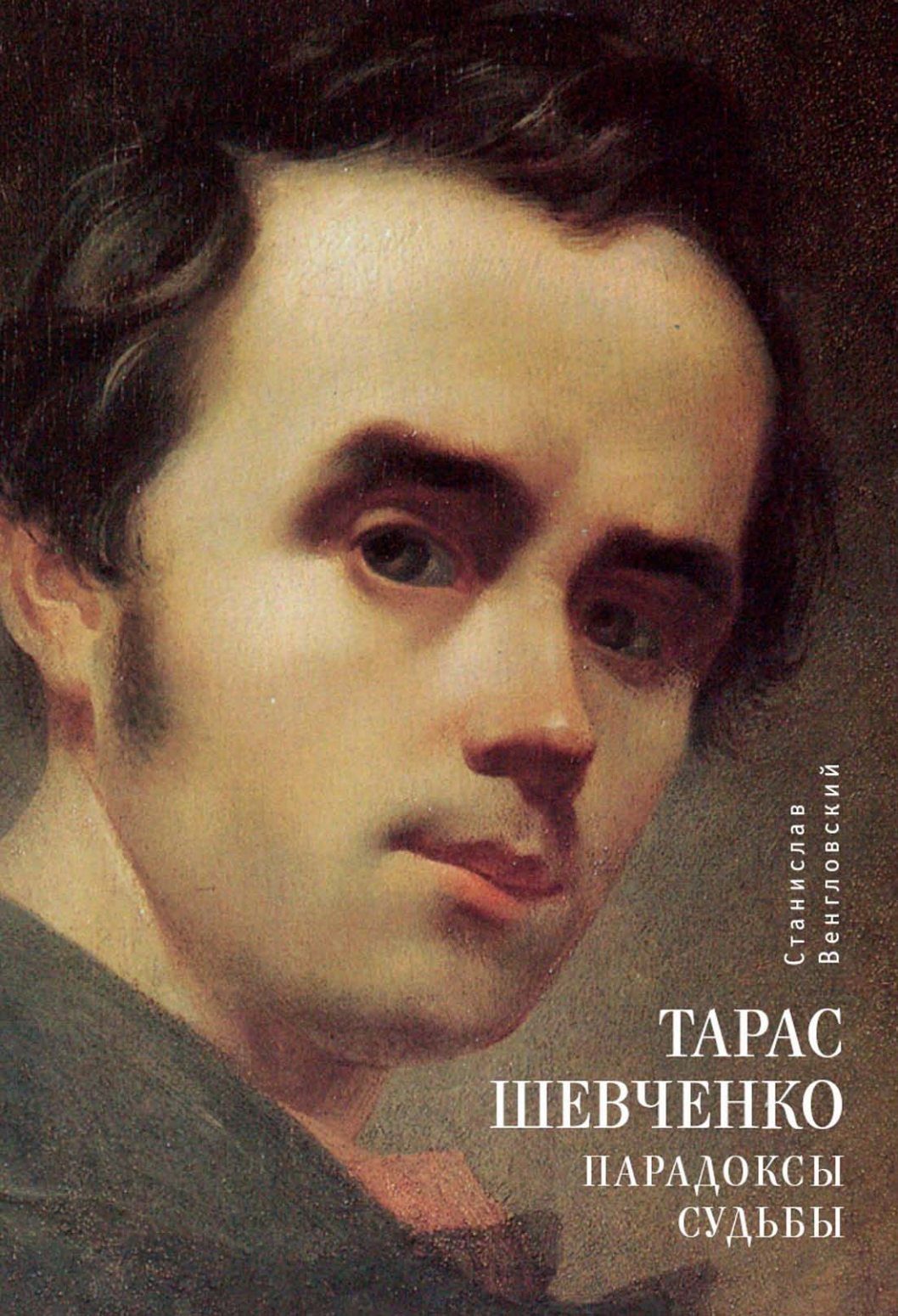


Станислав Венгловский

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ПАРАДОКСЫ СУДЬБЫ

УДК 929 Шевченко + 821.161.2 Шевченко.06
ББК 83.3(2)1-8 Шевченко Т.
В 290

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2018 годы)»

Венгловский С. А.

В290 Тарас Шевченко. Парадоксы судьбы. – СПб.: Алетейя: АНО «Женский проект», 2014. – 456 с.: ил.

ISBN 978-5-91419-997-7

Тарас Шевченко... И сразу же в голове возникает античная фраза: «Когда мы слышим слово „поэт“ без упоминания его имени, то у греков тотчас же вырисовывается образ великого Гомера, у римлян – знаменитого Вергилия». Продолжая этот ряд, необходимо добавить: а у жителей Украины – образ гениального Кобзаря, имя которому – Тарас Григорьевич... И это вполне справедливо: в своих стихах Шевченко сумел выразить не только красоту родной земли, но и все ее боли и радости.

УДК 929 Шевченко + 821.161.2 Шевченко.06
ББК 83.3(2)1-8 Шевченко Т.

ISBN 978-5-91419-997-2
9 785914 199972

© С. А. Венгловский, 2014
© АНО «Женский проект», 2014
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление 9
Истоки 12
От Ольшаной до Вильно 22
Через Вильно и Варшаву — в Санкт–Петербург.....30
Вдоль Петербургских проспектов, улиц и закоулков.....37
Загадочная встреча 44
Воля 53
Академия 60
«Кобзарь» 66
«Гайдамаки» 88
Еще одна Катерина 103
Снова на Украине, или первая Малороссийская феерия 110
Опять в Санкт–Петербурге. Долгое расставание 132
Вторая Малороссийская феерия. Как она начиналась 149
Малороссия, берег левый 160
Малороссия, берег правый 181
И снова на левом берегу 190
Опять берег правый 213
Арест 238
Сорок четыре дня в Петербурге 242
Грустные десять лет. Только начало 251
Оренбург 279
Новопетровское укрепление 290
Каратауская экспедиция 295
Новый комендант 307
Трудное возвращение 334
Нижегородское пленение 343
Вот она, Москва! 362
Здравствуй, Санкт–Петербург 369
Снова в академии 383
Украина. Третье свидание 396
Прощание с Петербургом 416
Подстрочные переводы стихотворений Т.Г. Шевченко 439
Список использованной литературы 445

ИСТОКИ

Якби ви знали, паничі,
Де люди плачуть живучи,
То ви б елегій не творили
Та марне Бога б не хвалили,
На наші сльози сміючись[2].
Тарас Шевченко

Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе Моринцы тогдашней Киевской губернии, в сердце нынешней Украины, близ седого Днепра (примерно в 70 верстах от его кипучих стремнин), на земле, овеянной громом сражений за обладание ее неисчерпаемыми богатствами и просто за пребывание в ее благодатных природных условиях.

Достаточно сказать, что завороженный этими краями русский генерал–фельдмаршал Григорий Александрович Потемкин наверняка почувствовал себя преисполненным радостью, став в 1776 году фактическим повелителем юга всей Украины, так называемой Новороссии. Еще задолго до указанного события записался он в запорожские казаки, назвавшись при этом родным и близким им именем — Грицьком Нечосом. Организовав затем пышную поездку Екатерины II по Днепру (1787), растрогав ее женское сердце видами райских селений, органически впечатанных в чудную природу, фельдмаршал добился верховной гетманской власти над всем казачеством (1790). Переведенное в 1775 году из разрушенной Запорожской Сечи в низовья Днепра, оно получило в конце концов статус Черноморского казачьего войска.

Справедливости ради необходимо отметить, что всесильный Потемкин немало способствовал освоению и развитию южных украинских просторов, начиная с возведения новых городов (Екатеринослава, Херсона, Севастополя, Николаева и других) и завершая разведкой полезных ископаемых — железных руд и каменного угля. И все же, пожалуй, не без его настырных подсказок внедрены были юридические основы крепостного права на украинских казацких землях (царский указ от 3 [14] мая 1783 года), чему предшествовало также подтверждение царицей универсала гетмана Кирилла Разумовского (1763), ограничивавшего переход крестьян от одного помещика к другому.

---

[2] Стихотворения Тараса Шевченко в этой книге намеренно приведены в оригинале, поскольку даже самые великолепные переводы зачастую далеки от авторских замыслов. Любопытные читатели, не совсем уверенные в знании украинского языка, могут воспользоваться подстрочными переводами, помещенными на с.439.

Потемкин несомненно знал, что делает, становясь обладателем казацких земель, долгое время пребывавших в руках польских шляхтичей. В 1787 году, незадолго до второго раздела Речи Посполитой, он выторговал у магната Ксаверия Любомирского обширную Смелянскую волость, которой Любомирские распоряжались с XVII века, чуть ли не с того самого момента, когда краковский сейм уступил шляхте земли, расположенные южнее города Белая Церковь (1590)[3].

Скоропостижная смерть Потемкина, пребывавшего в полном расцвете телесных и умственных сил, стала убийственной вестью для его многочисленных родственников, в том числе и любимой племянницы Александры Васильевны Энгельгардт, выданной замуж за польского коронного гетмана графа Ксаверия Петровича Браницкого, растерявшего свои необъятные владения, но вовремя сообразившего, откуда дует ветер, и в нужный момент переметнувшегося в лагерь более мощного русского *potentata* (властителя). Потемкин скончался на руках у Александры Васильевны, в бессарабских степях, на пути из Ясс в Николаев.

Не остался внакладе и родной брат этой очень влиятельной женщины — Василий Васильевич Энгельгардт. Он–то как раз и вступил во владение местечком Ольшаная, деревнями Зеленая Дубрава, Вербовка и другими населенными пунктами, перешедшими к нему непосредственно от Потемкина, а на скопленные фельдмаршалом деньги прикупил у деморализованных польских панов Кирилловку, Моринцы, Петрики, Журавку, Пединовку, Зеленую Дубраву и другие села.

В чине генерал–поручика, побывав перед тем губернатором в Смоленске и Пскове, Василий Васильевич вышел наконец в отставку и обосновался на постоянное жительство в благословенной Ольшаной (1800), управителем которой был его верный клеврет, давно уже пребывавший в его подчинении военный ротмистр Данила Иванович Дмитренко (по другим данным его вроде бы звали Михаилом). Когда же крепостные крестьяне вздумали было бунтовать против новых хозяев (манифест о включении Правобережной Украины в состав российского государства обнародован 27 марта 1793 года), решительный Дмитренко без раздумий вызвал воинскую команду. Бунт был подавлен в зародыше, с весьма ощутимыми жертвами со стороны крестьян и при потере всего лишь тройки солдат со стороны усмирителей.

[3] Один из представителей этого рода, Станислав Любомирский, владел на Украине 31 городом и 738 деревнями.

Отец будущего поэта и художника Григорий Иванович, крепостной Василия Васильевича Энгельгардта, родился в 1781 году в уже отмеченной нами деревне Кирилловке (иначе Керелевка, *Kerełów las*, *Кириллов лес* на карте небезызвестного французского инженера Гийома де Боплана), где его знали, скорее всего, под фамилией Грушевский. Очевидно, стремление избавиться от всего польского, в частности, от фамилий, оканчивавшихся на *–ский*, превалировало тогда в сознании украинского общества, обретшего, наконец, возможность абсолютно свободно исповедовать православие. Подобное намерение, вне всякого сомнения, поддерживалось как самим Василием Васильевичем Энгельгардтом и его управителем Дмитренко, так и православными церковниками. Во всяком случае, когда Григорий Иванович женился (1802), выбрав в супруги себе девятнадцатилетнюю красавицу из соседствующих с Кирилловкой Моринец, принадлежавших все тому же Василию Васильевичу Энгельгардту (фамилия у нее была Бойко, а звали ее Екатериной Якимовной), то дети молодой супружеской пары, в силу указанных выше причин, записывались уже как Шевченко. По крайней мере, так выглядела фамилия Григория Ивановича в церковной книге 1814 года, когда у его жены появился третий из оставшихся в живых ребенок — Тарас.

Что фамилия отца и деда будущего поэта звучала как Грушевский, а слово Шевченко являлось не более чем уличным прозванием для этих закрепощенных людей, подтверждается профессией деда маленького Тараса — сапожника, поименованного «Швець» (сравни польское *czewc*). Суффикс же *–енк* с окончанием *–о* представляет собой элемент общепринятой в украинском языке словообразовательной модели для огромного множества тамошних фамилий, то есть — слово Шевченко означает не более как «сын шевца (швеца)».

В пользу высказанного утверждения говорит и тот факт, что многие годы спустя однокашник уже состоявшегося художника и поэта Тараса Григорьевича Шевченко, некто Василий Крицкий, вспоминал о нем именно как о Тарасе Грушевском, но не как о Шевченко. Из этого можно сделать вывод, что под такой фамилией будущий поэт фигурировал во всей тогдашней церковно–школьной документации.

Подобные «проколы» случались неоднократно. В официальной метрической книге, зафиксировавшей брак самой старшей сестры в семье Тараса Григорьевича, Екатерины, о ней говорится как о дочери Григория Грушевского. То же сказано в исповедной росписи Кирилловской церкви (1828) применительно ко второй жене Григория Ивановича, мачехе поэта — она поименована Ксенией (Оксаной) Грушевской. Под

фамилией Грушевский, правда, уже с добавлением Шевченко, Григорий Иванович был похоронен. И что интересно, автором всех этих записей является кирилловский священник Григорий Иванович Кошиц, во–первых, отлично знавший всю свою паству, а во–вторых, бывший лицом отнюдь не посторонним даже в административном плане[4] и вполне разделявший упования высокого начальства, но, по–видимому, превыше всего почитавший истину.

Приведенные факты, надо сразу сказать, не говорят о каком бы то ни было польском происхождении украинского поэта. Они свидетельствуют лишь о том, что водораздел в данном случае между поляками и украинцами, сыновьями одних и тех же «старых» славян, как говаривал впоследствии Шевченко, пролегал в той плоскости, какую веру они исповедовали — православную или католическую. До сих пор на Украине, да и в Польше, в России, встречаются люди с одной и той же фамилией (в том числе и Грушевские), считающие себя кто поляком, кто русским, кто украинцем иль белорусом именно в силу указанного признака, то есть — своей конфессиональной ориентации.

Очевидно, никогда уже не узнать, какие обстоятельства предшествовали только что изложенным нами данным[5]. Известно только, что дед поэта, Иван Андреевич Грушевский, был очевидцем так называемой «Колиивщины» — грозного восстания подневольного люда против чужеземных поработителей (1768), и что этой ненавистью, как умелому рассказчику, ему удалось пропитать не только своих сыновей, но и всех своих внуков (их у него было много!) — в том числе и малолетнего Тараса.

По свидетельствам современников из числа так называемых «панычей», то есть представителей обеспеченных, «сытых» классов, обитатели Кирилловки могли жить совершенно безбедно, пользуясь всеми благами природы. И в самом деле, повседневное бытие их не подвергалось больше никаким серьезным опасностям. Государственная мощь Российской империи положила конец посягательствам со стороны любого внешнего агрессора, а также

[4] Младенцев обязательно регистрировали в церковных книгах.

[5] Малоубедительной представляется гипотеза украинских ученых, согласно которой у истоков рода Шевченко стоял некий запорожский казак Андрей, в начале XVIII века пришедший в Кирилловку, приставший там примаком к дочери профессионального сапожника (шевца) Ефросинье и принявший от нее прозвание Шевченко, которое, скорее всего, придавалось сыновьям самого шевца. У этого Андрея, вроде бы в 1742 году, родился сын Иван, дед поэта, ставший активным участником кровопролития 1768 года и проживший на свете целых 106 лет. Сторонником данной гипотезы, кстати, позиционировал себя и очень авторитетный ленинградско–петербургский шевченковед Петр Владимирович Жур.

исключала внутренние масштабные распри, вроде беспощадно кровавой «Колиивщины», усмиренной поляками лишь с помощью русских войск. Но социальный гнет простого народа после этого нисколько не ослабел, если не усилился, о чем красноречиво свидетельствует упомянутое нами подавление крестьянского бунта в Моринцах, на родине Шевченко (1818).

Во всяком случае, ничего благостного не наблюдалось и в подворье бывшего кирилловского казака Ивана Андреевича Грушевского, ставшего крепостным, по правде говоря, лишь в силу сложившихся обстоятельств. Дело в том, что наследники Потемкина, вступив во владение его землями, предложили сельским жителям–хлебопашцам либо оставаться в крепостной зависимости, либо убираться куда глаза глядят. Скрепя сердце Иван Андреевич решил затаиться на уже обжитой им земле, понадеявшись на защиту Небес, убаюканный убеждением, что живут ведь люди и под панской властью, и примером множества соседей, которые предпочли избрать для себя именно такой удел.

Недавно женившийся сын Ивана Андреевича, Григорий, в 1810 году вынужден был перебраться в соседнее село Моринцы, чтобы там, по велению своего господина, точнее — его управителя Дмитренко, занять усадьбу «запротореного» (сосланного) в Сибирь строптивого мужика по прозванию Копий, в жизни — Колесника. В Моринцах Григорий Иванович оставался вплоть до 1816 года, до того момента, когда этот Копий, как говорит предание, вырвавшись из сибирских краев, стал по ночам наведываться в свое наследственное жилище, угрожая непрошеному пришельцу всевозможными карами.

Там же, в Моринцах, родился будущий поэт. Правда, произошло это знаменательное событие в хате другого его деда, Якима (Акима) Бойко. Указанная хата оставалась в целости и сохранности вплоть до 1918 года (теперь на том месте высится памятник Тарасу Шевченко, установленный в советское время, и лежит жерновой камень с памятной надписью, вкопанный в землю его племянниками еще до большевистской революции). В 1816 году, когда семья будущего поэта возвратилась назад в Кирилловку, — то ли благодаря заметному улучшению денежных дел в хозяйстве у старого Ивана Андреевича, то ли в силу каких–то иных обстоятельств, семейству, собравшему объединенными усилиями две сотни рублей (огромная сумма по тем временам), удалось приобрести еще одну усадьбу, вместе с хатой, в которой и протекало детство юного Тараса.

Пребывание в этом новом дворище настолько овладело его сознанием, что в 1859 году, работая над собственной биографией, поэт поименовал Кирилловку даже местом своего рождения.

Действительно, вновь обретенная усадьба в Кирилловке нравилась мальчишке безумно. Старая хата, зарисованная его вполне уже мастерским карандашом (1843), запомнилась ему ухоженной — хотя и тогда была уже крепко потрепанной, неказистой на вид, с потемневшей соломенной кровлей, с чернеющим дымарем, зато с ярко выбеленными глиной стенами. Живописный вид строению придавали кудрявая яблоня с красными яблоками и окружавший его роскошный цветник — «любимец» старшей сестры Тараса, уже упоминавшейся нами Екатерины Григорьевны. За хатой, вниз по склону бугра, тянулся такой же старый, непроглядный сад, за ним — левада и влажная долина с едва шевелящимся в зарослях ручейком, в котором можно было плескаться от весны до глубокой осени, а дальше — общественный выгон, так называемая царина, затем — нескончаемые степные поля, уставленные темнеющими древними курганами, по-местному — могилами.

Не раз, искупавшись в ручье, полеживая на его извилистых берегах, в тени холодящих бока лопухов, всматриваясь в неохватную синеву небес, задумывался мальчишка о бескрайнем мире, открывавшемся его взору, — и воображал, что все, здесь увиденное, безусловно, способно держаться лишь на какой-то сверхпрочной опоре, вроде крепчайших железных колонн. Мысли его снова и снова набредали на мощные верстовые столбы, расставленные вдоль почтового тракта, мимо которых они с отцом, практиковавшим чумацкий промысел, добирались до пыльного городка под названием Умань, а то и до огромного города Елизаветграда (нынешний Кировоград). Не раз, уже в Санкт-Петербурге, в далекой и мрачной солдатчине, вспоминались ему эти детские представления о сказочных столбах, подпирающих небо, прорезались в памяти собственные попытки добраться хотя бы до их подножий — и все это, словно в гигантском зеркале, отразится впоследствии в его многочисленных повестях.

Как бы там ни было, довольно-таки спокойным и даже идиллическим выглядело Тарасово детство только в ту пору, пока жива была его мать. Он даже успел обучиться началам грамоты под руководством кирилловского дьячка Павла Фомича Рубана, совсем еще молодого, на ту пору двадцатилетнего человека, набиравшегося знаний, как говорили, в неведомом пока что Тарасу городе Киеве. Хата, в которой размещалась школа, сохранилась до нашего времени, и в 1960 году над ней возвели специальный защитный футляр.

Что же касается намерений родителей юного Тараса дать мальчику начальное образование, то в них не было ничего сверхъестественного:

письменным (умеющим читать) был его отец, Григорий Иванович, торжественно раскрывавший по воскресеньям засаленные Четьи–Минеи[6], следственно, понимавший значение грамоты в жизни каждого человека. Кроме того, отец успел заприметить особую одаренность и даже какую–то исключительность своего лобастого отпрыска с его совершенно не по–крестьянски все понимающими глазами.

Однако вскоре в судьбе Грушевских–Шевченко наступили разительные перемены. Несчастья посыпались одно за другим. Сначала, переболев трахомой, лишилась зрения трехлетняя дочурка Мария (1822), затем, едва успев выдать замуж старшую дочь Катерину (ее мужем стал двадцативосьмилетний Антон Красицкий, крепостной крестьянин из села Березовая Дубрава, принадлежащего все тому же Энгельгардту), в разгар летней страды 1823 года скончалась Екатерина Якимовна, мать семейства. Отец же, Григорий Иванович, очутившись в безвыходном положении, с пятью малолетними ребятишками, женился вновь, приведя в дом такую же вдовую молодицу из знакомых нам Моринец, у которой имелось трое своих малышей.

К несчастью, новая жена, уже упоминавшаяся нами вскользь тридцатисемилетняя Оксана Антоновна Терещенко, по мнению многих исследователей, оказалась не только вздорной, но и просто неуравновешенной и жестокой женщиной. Особенно возненавидела она девятилетнего Тараса, уже тогда отличавшегося неукротимым нравом и выше всего ценившего личную свободу. Мачеха всячески выгораживала своих детей, а пуще всего — болезненного Степана, почти сверстника Тараса[7]. Все перечисленное усугублялось неустанно возрастающей нищетой. А со смертью отца, простудившегося в ходе очередной чумацкой поездки в Киев (1825), для детей его вообще наступили невообразимо трудные времена.

Поначалу Тараса пытался было завербовать в подпаски родной его дядя, младший брат отца, Павел Иванович. Но осиротевший мальчишка быстро раскусил предназначенную ему ловушку, признав в своем дяде настоящего катюгу (палача), желавшего заполучить себе в подчинение безответного батрака. Он «устроился» наймитом в школу, где над ним

[6] От греч. μηνάς (месяц) и русск. «четьи» (чтения); церковно–религиозные сборники, поделенные на 12 частей (по месяцам) и соответствующие дням недели.

[7] Небезынтересно заметить, что этот слабый телом Степан, которому не раз перепадало от «завзятого» Тараса, стал впоследствии, как говорят нынешние исследователи, одним из основателей знаменитого клана сахарозаводчиков, сыгравшего видную роль в истории всей России.

верховодил уже другой дьячок, Петр Федорович Богорский, тоже совсем еще молодой человек — правда, зарекомендовавший себя неутомимым поклонником древнегреческого бога Вакха (или Бахуса), покровителя вина и веселья.

Тарас таскал в школу воду, топил печи, исполнял любую неблагодарную деревенскую работу, одновременно усваивая преподаваемые науки. Успехи мальчишки–сироты оказались настолько очевидными, что корыстолюбивый наставник вскоре переложил на него и свои прямые обязанности по чтению над умершими Псалтыри, получая при этом все полагавшиеся чтецу приношения. Более того, пьянствуя в компании с мачехой Тараса, дьячок превратил последнего в своеобразного коменданта школы, наделив его полномочиями «консула», ответственного за субботние порки нерадивых лоботрясов. Ничуть не заботясь о подопечном, который все сильней и сильней ощущал в себе неуемное желание рисовать, дьячок без зазрения совести драл его за малейшую провинность или невольную оплошность. Впрочем, обвинять деревенского ментора в излишней ригориозности (строгости) вроде бы не пристало: иных рычагов воздействия на малолетних воспитанников тогда и не знали. Точно таким же образом менторствовали и над ним самим — в старинной, почтенной Киевской академии.

В конце концов, не стерпев издевательств, воспользовавшись очередным служением дьячка перед алтарями Бахуса, малолетний Тарас связал его, беспамятного от возлияний, по рукам и ногам, высек заготовленными впрок розгами, хранящимися на виду, в углу школы, — и был таков. В награду за два почти впустую потраченных года предприимчивый мальчишка прихватил из школьной избы какую–то самодельную тетрадку, чтобы покрывать ее странички своими собственными рисунками, — стремление стать «богомазом» усиливалось в нем день ото дня.

Наслышавшись о мастерстве иконописца, живущего в деревне Лысянке, отдаленной от Кирилловки на двенадцать верст, Тарас бросился туда. Он был принят в число учеников, но и новый учитель показался ему не лучше высеченного дьячка Богорского. «Учеба» заключалась в таскании воды из речки под названием Гнилой Тикич, мытье полов, уходе за прожорливой скотиной и тому подобном, так что к вечеру у мальчишки не оставалось сил держать в руке кисть — даже если бы ему ее и вручили. Только ни о каком учении в доме «богомаза» речи не шло. Что касается живописи — «ученику» позволялось лишь растирать окаменевшие до гранитной твердости краски и покрывать левкасом слегка оструганные

доски, предназначенные для писания все новых и новых икон. Относительно зуботычин, подзатыльников и розог — о, за этим дело не ставало! Тараса хватило всего на несколько дней.

Новая попытка найти учителя иконописи привела мальчишку в село Тарасовку, находящееся гораздо ближе к Кирилловке, нежели Лысянка. Однако тамошний наставник, взглянув на руки потенциального ученика, с ходу объявил его неспособным не только к усвоению изящных художеств, но бесперспективным даже для натаскиванья в шитье мужицких сапог или сколачивании пузатых бочек.

Огорченный, возвратился Тарас в свою родную деревню, решив, что одно только может спасти его от голодной кончины в зимнюю стужу — пастьба коровьего стада. И правда. Старший брат Микита, уже женатый и с грехом пополам управлявший собственным хозяйством, попытался было приобщить братишку к сельскохозяйственным работам, вроде обращения с сохой, боронами, косой и волами. Однако тот, увлеченный своими мыслями, мог запросто бросить в поле воловью упряжку и забрести в ближайшую рощу, заслушавшись птичьего пения. Мог также взобраться на высокий курган–могилу, чтобы восхищаться оттуда открывающимися просторами и во весь голос распевать унылые песни, которые слышал от кобзарей — слепых бандуристов–лирников, в сопровождении поводырей курсирующих от деревни к деревне.

С наступлением зимних заморозков, при которых даже взрослый пастух становится безработным «запечником», Тарас привязался к поповскому подворью у батюшки Григория Ивановича Кошица, венчавшего некогда его сестру и его отца. Он продержался там довольно долгое время, исполняя обязанности кучера при широкохвостой кобыле, а также конюха, батрака и т. п. Вкупе с юным поповичем Ясем побывал он в местечке Богуславе, где тот обучался в бурсе, и в разных других городишках вроде Шполы, еще раз посетил Умань. Добирался даже до бесконечного города Киева, где торговал самой разнообразной всячиной, которая произрастала у батюшки в огородах и на нивах.

Однако тяга к рисованию по–прежнему не покидала Тараса. Используя цветную глину, угли, сажу, он рисовал на дверях, на заборах, на белых стенах построек, изображая коней, воловьи упряжки, «кумедных» людей — все, что видел вокруг. Что–то нашептывало ему, что бесконечное батрачество ни к чему дельному привести не может. Расставшись, наконец, с поповским хозяйством, Тарас обосновался на барском подворье, у кирилловского управляющего Яна Станиславовича Дымовского, выпускника Дерптского университета. Там он вскоре прослышал

о болезни своего главнейшего пана Энгельгардта и проникся предчувствием ждущих его необыкновенных перемен. Доброе отношение Дымовского (причем — поляка!), еще — кончина старого пана (в мае 1828 года) и разговоры о его уже скачущих в Ольшаную сыновьях–наследниках — все это возбудило в отроке новый прилив фантазии. Махнув рукой на все, отправился он в село Хлипновку, к тамошнему иконописцу, о котором слышал много хорошего.

Развернув свои бесхитростные работы, скомпонованные на выпрошенной у Дымовского серой бумаге, Тарас не поверил собственным ушам: хлипновский маляр одобрил почти все представленное и тут же заявил, что готов взять его в ученики! Однако приглядевшись к Тарасу, поинтересовавшись насчет его возраста, пожевав губами, старик объявил, что четырнадцать лет — переломный период для всех крепостных крестьян. В такие годы помещики заставляют подданных трудиться в полях. Без позволения главного ольшанского управителя он не может принять решение.

Не предвидя опасности, даже не заходя во двор к Дымовскому, Тарас отправился прямо в Ольшаную: он ощущал, что за спиной у него прорастают легкие крылья.

ОТ ОЛЬШАНОЙ ДО ВИЛЬНО

В Ольшаной, меж тем, все пребывало в смутном движении и в какой–то странной неопределенности.

Схоронив умершего пана–дидыча, многочисленная армия дворовых, начиная с самого управителя Данилы Ивановича Дмитренко, не старого еще человека, окружившего себя массой друзей и родственников, совершенно не ведала, что последует дальше.

Новые владельцы, наследники покойного, привезли с собой толпы рекомендованных им приказчиков, надсмотрщиков, управителей и смотрителей, главным образом — поляков. В Ольшаной теперь повсеместно звучала чужая шипящая речь, что совсем не казалось странным. Подобного рода картины в те времена наблюдались по всем господским дворам на Правобережной Украине. Новые великорусские власти ничего не меняли, оставляя все в прежнем виде. Польская речь, *polszczyzna*, раздавалась тогда и в судах, и во всех официальных присутственных местах. Даже православные священники, вернувшись из церкви домой, переходили, как правило, на польский язык.

А в Ольшаной теперь все совершалось по указаниям старой графини Александры Васильевны Браницкой, старшей сестры почившего дидыча, которой, как можно было догадаться, предназначалась львиная доля его несметных богатств. Прочая часть бесконечных владений и населяющих их крепостных людишек выпадала на долю сыновей и дочерей покойного, которые вообще–то считались незаконнорожденными. Мать их, женщина удивительной красоты, бывшая, как говорили, польская княжна, выкраденная когда–то бравым Василием Васильевичем из старинного иезуитского монастыря, давно уже почивала на кладбище близ кирилловской церкви.

Впрочем, утверждали вокруг, старый Василий Васильевич не очень–то убивался по поводу ее кончины. Он с прежним успехом продолжал наслаждаться своеобразным правом *primae noctis* (первой ночи), и, поговаривали, многие мальчишки в его деревнях как две капли воды походили на своего верховного сюзерена, в том числе (усмехались) — и лобастый Тарас Грушевский–Шевченко…

А вот признанных им сыновей у почившего в Бозе генерал–поручика было трое: Андрей, Василий и Павел. Андрей, самый старший, боевой офицер, участник сражений с войсками Наполеона, был ранен в 1807 году в битве при Гуттенштадте — неприятельское ядро раздробило ему ногу чуть ли не до самого колена. Не растерявшись, он собственноручно отсек лезвием сабли заполнившее щегольский сапог кровавое месиво, а затем,

придя в себя и смирившись с ниспосланным Небесами увечьем, повелел своим доморощенным дедалам изготовить протез из костей павшей трофейной лошади — и остался в армейских рядах. Он и дальше продолжал сражаться с наполеоновскими полчищами, участвовал в знаменитом Бородинском сражении, и только после победоносного завершения военной кампании обосновался в наследственных имениях в Духовщинском уезде близ старинного русского города Смоленска. Соседями его оказались представители рода Глинок, из которых впоследствии вышел творец знаменитой оперы «Жизнь за царя» — Михаил Иванович, великий русский композитор[8].

Второй сын Василия Васильевича, тоже Василий Васильевич, вращался преимущественно в столичном Санкт–Петербурге, входил в число ближайших друзей великого Пушкина. Это ему поэт посвятил свои удивительные строки:

…счастливый беззаконник,
Ленивый Пинда гражданин,
Свободы, Вакха верный сын,
Венеры набожный поклонник
И наслаждений властелин!
……..
С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет Небесного царя,
А иногда насчет земного.

[8] Заметим, что подвиги молодого Энгельгардта также способствовали рождению несусветных легенд, связанных с биографией поэта Шевченко. Рассказывали, будто благодарить старика–отца за воспитание сына–героя в Ольшаную приезжал официальный наследник царского престола — великий князь Константин Павлович, и что Василий Васильевич, восхищенный столь высоким вниманием, тоже не ударил в грязь лицом. Чем только не удивлял старик своего августейшего гостя! А вершиной всего оказался гарем из крепостных красавиц, в число которых попала супруга Григория Грушевского–Шевченко, прелестная Катерина, вступившая как раз в свое тридцатилетие. Происходило все это летом 1813 года, а ровно через девять месяцев появился на свет младенец Тарас. Сторонники данной гипотезы, увидевшие в ней чуть ли не единственное объяснение появления гениального человека из крепостной среды, приводят немало вроде бы основательных доказательств ее, забывая, правда, об очень существенном аспекте: все это попадает в один ряд с легендами о родословной Ломоносова, Сталина и других выдающихся исторических личностей.

Женившись на дочери купца–миллионера Кусовникова, большого, между прочим, оригинала, своим простонародным видом нередко вводившего в заблуждение приказчиков гостинодворских моднейших лавок, Василий Васильевич сделался одним из первостатейных в столице вельмож, владельцем красивейшего на Невском проспекте дома, в котором разыгрывается действие знаменитой драмы Лермонтова «Маскарад» (ныне Невский, 30).

Третьего своего сына, Павла, Василий Васильевич–старший собирался пустить по придворному ведомству, но юноша предпочел тривиальную армейскую карьеру. К моменту смерти отца он был уже штабс–ротмистром уланского полка и нес службу в качестве адъютанта при виленском генерал–губернаторе — Александре Михайловиче Римском–Корсакове. Женившись на своей однофамилице, красавице Софье Григорьевне (свадьбу играли вроде в Ольшаной), Павел Васильевич дожидался теперь появления очередного наследника.

Как выяснилось впоследствии, Тарас явился в Ольшаную в самый неподходящий для себя момент, зато в самые подходящие минуты с точки зрения управителя Дмитренко, который как раз ломал себе голову над подбором слуг для Павла Васильевича.

Присмотревшись к подростку, представшему перед ним босиком и в какой–то рваной свитчонке, с взлохмаченными жесткими волосами, еще не остывшему от быстрой ходьбы и перебранок с дворней, раздумывавшей, пускать ли такого «басурмана» на свежевымытые полы, — Данила Иванович первым делом поинтересовался, сколько ему лет. Услышав, что паренек отметил четырнадцатый день рождения, стало быть, по закону ему предстоит приступать к регулярному исполнению барщины, управитель проигнорировал просьбы насчет разрешения поступить в учебу к иконописцу, но сразу решил, что вот, дескать, дичь сама отыскала охотника, отчего ж не воспользоваться оказией! Этого хлопца непременно следует занести в число перспективных дворовых.

Дмитренко немедленно продиктовал указание писарю, сидевшему за небольшим боковым столиком, повелев в то же время сделать пометку, что парнишка может быть употреблен для обучения на комнатного живописца (вдруг потребуется), — а пока что распорядился отправить его помощником к итальянцу–повару.

Какое–то время спустя, то ли отметив абсолютную бесполезность новичка в кулинарном производстве, то ли вняв заверениям дворового живописца Степана Степановича Пржевлоцкого, к которому Тарас сумел не только втереться в доверие, но и явить перед ним свои «малярские»

способности и даже кое–какое мастерство, — его перевели в так называемые комнатные казачки.

Что представляла собой эта должность, Тарас уже слышал и даже видел порой казачков при высоких колесах панских карет, но оставался о них совсем неважного мнения, как и каждый малорусский сельчанин, пребывавший в твердой уверенности, что данное нововведение принадлежит исключительно польским шляхтичам. Не казак это, дескать, а только комнатный, *pokojowy* казачок, нечто безнадежно второсортное, если не игрушечное.

Не имевшего подходящей одежды, босого, Тараса нарядили в чистенький тиковый костюм. Ему выдали ловко сшитые красные сапоги, четырехугольную шапку–конфедератку, отороченную смушковым мехом. Более того, ему даже предоставили возможность взглянуть на свое отражение в огромном сверкающем зеркале, в котором он не сразу признал самого себя, поскольку не ведал, чему следует больше дивиться: размеру ль барского зеркала, или тому панычу, который выткался из чистейшего воздуха, из ничего. Зеркала Тарас знал только в виде маленьких сколочков, вмазанных в хатные стены. Перед ними покойный отец оскребал иногда свои жесткие щеки — лезвием старой косы.

Преображенный, Тарас получил задание посиживать в передней панского кабинета в томительном ожидании, когда господин залихватски хлопнет в ладоши, подавая тем самым знак о возникшем вдруг намерении сглотнуть водицы из стоящего рядом вычурного графина или выкурить золоченую трубку. Для исполнения этих желаний имелся теперь особый служка.

Компенсацией довольно–таки бессмысленных новых обязанностей служило то, что затянутый в новый наряд Тарас получил возможность без конца любоваться картинами, развешанными в панских покоях, в том числе и в гулкой прихожей. Он пожирал их глазами, стараясь запомнить всё до мельчайших подробностей, чтобы потом, украдкой, по памяти, воссоздавать увиденное на ошметках шершавой бумаги, выклянченной у покладистого дворецкого. Рисовал же при помощи карандашных огрызков, подаренных добрым Пржевлоцким.

Правда, когда Степан Степанович рассматривал эти яркие рисунки, у него вздымались ломкие брови: «Неужели по памяти, Тарас? *Sliczno*… *Bardzo dobrze*… Здорово.… С такой памятью… Есть, говорят, в Петербурге некая академия… О ней мне рассказывали в Вильне… Сам Рустем… Ян Иванович… Интересный человек… Только не для нас все это… Правда, был у меня Григорий… Так за него сам граф хлопотал… Хотя… Наведывался еще Иван Сошенко… Ты его, вроде, видел. Хилый на вид, но мастер — большой».

Что же, сам Пржевлоцкий не стал заметным художником, однако — теперь это можно смело сказать — им указана дорога не одному только юному Тарасу, но и упомянутому Ивану Максимовичу Сошенко, с которым нам не раз еще придется встретиться на страницах этой книги. Более того, среди благословленных Пржевлоцким молодых людей действительно был и будущий академик живописи Григорий Игнатьевич Лапченко, человек не столько счастливой, сколько трагической судьбы — по причине постигшей его слепоты, проявившейся в молодом еще возрасте.

Справедливости ради надо сказать, что Павел Васильевич, опьяненный завещанными богатствами, заполучил вместе с ними и массу хлопот, которые не позволяли ему почивать на лаврах. Где только не побывал Тарас со своим патроном, восседая на козлах рядом с бравым кучером, а иногда так и болтаясь при голенищах панских ботфортов, либо же стоя на скользких каретных подножках, — в зависимости от того, какой экипаж оказался более подходящим для данного маршрута! Будища, Тарасовка, Кирилловка, Моринцы, Лысянка… Разве все перечислить… А сколько раз добирались до далекого Киева, где пан Энгельгардт часами просиживал в присутственных местах, — так что Тарасу выпадала возможность налюбоваться Днепром и его высоченными берегами, усеянными золотом сверкающих куполов и крестов на самых разных церквах.

Это была настоящая красота. И Тарас сожалел лишь о том, что нет у него под рукою хотя бы ничтожного карандашного ошметка и клочка шершавой бумаги… Потому что для передачи подобных красот непременно требовались краски — если и не такие, как у пана Пржевлоцкого, то хотя бы такие, как у хлипновского старичка–богомаза: в маленьких неказистых горшочках…

Поездки в Киев все больше и больше укрепляли ходившие между дворней слухи, будто старый Василий Васильевич строго–настрого завещал схоронить себя на смоленской земле и что прах его, стало быть, упокоился здесь лишь на краткое время. Это означало, что разлука с родными местами, о которой частенько заговаривали старики–дворовые, но которая представлялась Тарасу чем–то весьма и весьма отдаленным, в действительности не за горами. Молодой пан явно готовился к отбытию на место своей постоянной службы в каком–то городе под названием Вильна или Вильно, Бог его знает.

Тарас тревожился не на шутку.

Согласно долгое время бытовавшей версии, будущий поэт был отправлен в Вильно вслед за своим молодым хозяином, уехавшим туда еще

ранней весною, чуть ли не в марте месяце. Что касается самого Шевченко, то его увезли будто бы осенью 1829 года, а маршрут его путешествия пролегал через Киев, Бровары, Козелец, Чернигов, Лоев, Речицу, Жлобин, Бобруйск, Игумен, Минск, Радошковичи, Красное, Молодечно, Пруды, Сморгонь и многие промежуточные деревеньки и почтовые станции. Именно эти города и местечки фигурируют в научной, учебной и прочей литературе и звучат в речах выступающих при открытии памятников украинскому поэту на белорусских землях (в Минске, Могилеве, Бресте и прочих городах). Однако не столь уж давно появилась иная, довольно мотивированная гипотеза, согласно которой переезд энгельгардтова казачка в литовские земли совершился значительно раньше, что произошло это вроде при следующих ниже, вполне доказуемых обстоятельствах.

Все так же, тревожно и зыбко, миновала теплая осень, отшумели Рождественские торжества. В первой половине января наступившего 1829 года средний и младший братья Энгельгардты, Василий и Павел, обратились в канцелярию киевского митрополита с прошением о предоставлении священнику Солухе из подвластного им села Журавка права сопровождать останки почившего их родителя, действительного тайного советника, к месту постоянного захоронения.

25–го января, говорят документы, просьба наследников была полностью удовлетворена. Священнику Солухе вручили затребованное свидетельство, и не позже 4–го марта Тарас Шевченко прибывает со своим господином в Киев для получения тем «вводного листа» на владение завещанными имениями. Как полагают сторонники данной гипотезы, сразу же после названной даты в Киев доставили цинковый гроб, сопровождаемый предназначенным для следования в Вильно длинным обозом.

Расчет у Павла Васильевича был по–житейски прост: зачем пускать дело на самотек, если можно без затруднений совместить поездки в Вильно и в Смоленск? К тому же резонно предположить, что обоз Энгельгардтов в полном составе следовал только до Смоленской дороги, а дальше большая часть его развернулась в сторону Минска, а другая, меньшая — в сторону Смоленска.

Путь, проделанный панской валкой (обозом), в таком случае мог выглядеть следующим образом: Киев, Бровары, Козелец, Чернигов, Седнев, Могилев, Пропойск, Чечерск, Гомель и, наконец, Орша, где и произошло разделение. Это было первое многодневное путешествие юного Тараса за пределы родной Украины. Нелишним будет заметить, что Украиной, по крайней мере, в начале жизненного пути, Шевченко называл ее сердцевину, современную ему Киевскую губернию, а прочие

украинские земли носили у него названия Волынь, Подолия, Слобожанщина, Гетманщина и т. д.

Выбравшись за границы весеннего Киева, Тарас еще долго мог слышать звучание «рідної мови» из уст простого люда, но отмечал уже и значительные перемены в убранствах, в планировке усадеб, архитектуре построек, даже в устройстве плетней и заборов. Поражали парнишку, правда, не только эти, ощутимые взглядом приметы, но и различие в народных песнях. Изумляли также услышанные истории, одна другой примечательней. Скажем, в придорожном селе под названием Лемеши он наверняка мог заслушаться сказочными преданиями о казаках Розуменках, из простых лемешан превратившихся в первых царских вельмож и в самых богатых в государстве людей — графов Разумовских. Много лет спустя поэт Шевченко увидит там даже обыкновенную хату, принадлежавшую некогда Наталке Розумихе, матери этих двух удальцов, а затем и пышный дворец, возведенный по ее указаниям в городке Козельце. Более того, настанет такое время, когда ему лично приведется гостить в яготинских хоромах, принадлежавших наследнице гетмана Разумовского... Но это — потом.

А сейчас, в свой первый проезд через этот город, он мог подивиться нарядным дворцам и необыкновенным храмам. Соотечественники, возможно, попытались даже объяснить ему причины рождения столь невиданной архитектуры. В XVIII веке, на протяжении длительного периода, Козелец гордился статусом главного города Киевского казацкого полка, и подобными достопримечательностями он был обязан полковнику Дарагану, приглашавшему самых выдающихся архитекторов, которые и возвели всю эту чудную лепоту. Восхитил его и Чернигов — своими старинными соборами, древнейшей историей, связанной с легендарным князем Черным…

Как ни торопился Павел Васильевич Энгельгардт с непростым своим грузом, но и в Чернигове, и на прочих станциях или постоялых дворах обоз непременно задерживался — не только ради регистрации документов, но также из–за починки часто ломавшихся экипажей, колес, осей и прочего. Во время этих остановок, по словам самого Тараса, он рассматривал лубочные картины и различного рода гравюры, а кое–что ему даже удавалось утащить с собой. Все уворованное он запирал в свой вместительный деревянный сундук, изготовленный братом Микитой, чтобы потом, при возможности, скопировать рисунки.

Поездка продолжалась. Едва заслышав белорусский говор, путешественники оказались в Орше, где обоз их наверняка разделился на две неравные части, и та, в которой таился заледенелый прах семидесятилетнего Василия Васильевича, вкатилась, наконец, в пределы Смоленщины.

То были последние месяцы, если даже не последние дни и недели, правления смоленского цивильного губернатора Иасана Семеновича Храповицкого, уступавшего свой пост Николаю Ивановичу Хмельницкому, прямому потомку прославленного украинского гетмана, пользовавшемуся благосклонностью самого Николая I. Смоленск, опаленный пожарами, разрушенный в результате наполеоновского вторжения, все еще продолжал возрождаться, и строительство в нем порою велось с использованием остатков каменных укреплений, воздвигнутых когда–то под руководством знаменитого зодчего Федора Коня. И все ж этот город над чудным Днепром–Славутичем, столь знаковой для украинского уха речкой, уже разбуженной весенними ветрами, дувшими с полуденной стороны, от Киева, вселял в Тараса особые чувства.

Смоленск оказался последней продолжительной остановкой перед селением Чижово. Чижово — родина Григория Александровича Потемкина, чей род известен, по крайней мере, с 1654 года, с тех пор, как цепко удерживаемый поляками Смоленск был снова отвоеван войсками Алексея Михайловича и плененный шляхтич Симеон, обретший новое крестное имя Иван, вступил на царскую службу. Его внук, Александр Васильевич, уже в XVIII веке получил Чижово в награду за верное служение русскому отечеству. С течением времени владелицей Чижова стала сестра будущего генерал–фельдмаршала, которая вскоре вышла замуж за представителя рода Энгельгардтов, берущего начало в Швейцарии, а затем оказавшегося в германских (остзейских) землях.

Василий Васильевич Энгельгардт, племянник Потемкина, унаследовав Чижово, привел его в образцовый порядок, украсил новыми зданиями, искусственными водоемами, садами. В чижовском имении, благоухающем ароматом алых роз, в 1780 году принимал он саму Екатерину II.

Похороны Василия Васильевича состоялись 13–го марта, при большом стечении народа, в присутствии всех троих его сыновей, губернатора Храповицкого и митрополита Иосифа.

А вскоре после этого дня Тарас Шевченко был снова в пути.

Он направлялся теперь на запад, в сторону литовских земель.

ЧЕРЕЗ ВИЛЬНО И ВАРШАВУ — В САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Итак, во второй половине марта 1829 года, в разгар наступающего тепла, Тарас Шевченко мог действительно запросто очутиться в литовском городе Вильне (нынешнем Вильнюсе), куда он проследовал через Оршу, Минск, Молодечно, Сморгонь.

Вильна (Вильно) в ту пору представляла собой оживленный старинный город, переполненный звуками исключительно польской речи. Так повелось с тех пор, как Литва и Польша в результате унии 1569 года образовали единое государство. Центром Вильны, безусловно, служил тогда местный университет, созданный в 1803 году рескриптом Александра I на базе старинных учебных заведений. Из недр этой *alma mater* к 1829 году вышло уже немало замечательных людей, в том числе и Адам Мицкевич, гениальный польский поэт.

Павел Васильевич Энгельгардт проживал в генерал–губернаторском доме, расположенном напротив главного университетского корпуса. Данное обстоятельство, а также и то, что в университете функционировала кафедра изобразительных искусств, учрежденная замечательным польским художником Францишком Смуглевичем и возглавляемая теперь его последователем Яном Рустемом (об этом питомнике художников Тарас мог слышать от Степана Пржевлоцкого), побудили юного казачка проявить максимум личной инициативы. Как все это происходило, теперь уже невозможно сказать, однако нам точно известно, что вскоре он становится если не одним из учеников Рустема, то, по крайней мере, все же попадает под его ферулу (надзор) и пользуется его бесценными указаниями.

Верный своим неустанным порывам во что бы то ни стало научиться грамотно рисовать, Тарас и в Вильне не упускал возможности копировать попадавшиеся ему на глаза рисунки и разного рода графические изображения. Именно копированием занимался он зимним декабрьским вечером 1829 года, когда Павел Васильевич с супругой Софьей Григорьевной «скакал» на балу в благородном дворянском собрании. Об этом занятии Шевченко напишет в собственной биографии, вспомнит в дневниковых записях, в своих повестях. Из сохранившихся официальных документов видно, что виленские власти весьма щепетильно заботились о соблюдении противопожарных мероприятий, а юный Тарас, как бы в пику запретам и требованиям, зажег не меньше десятка больших и малых свечей. Он никак не надеялся на скорое возвращение господ, но именно так и произошло. Разъяренный Павел Васильевич, обнаружив дерзкое небрежение правилами противопожарной безопасности, собственноручно отхлестал казачка

по щекам, а на следующий день распорядился насчет экзекуции по полной форме, уже на конюшне, как было принято в лучших дворянских домах.

И все же, как видно, нашла коса на камень. Энгельгардт вынужден был уступить своему слуге, отдав его в обучение к Яну Рустему.

Ян Рустем (Йонас Рустемас), по национальности армянин, родился в Стамбуле (Константинополе), откуда в двенадцатилетнем возрасте был вывезен графом Адамом Казимежем Чарторижским. Обучаясь в иезуитских колледжах, армянский мальчишка обнаружил большие способности к изобразительному искусству. Монахи предоставили ему полную возможность развивать свои дарования и совершенствовать их под руководством опытных мастеров, в том числе знаменитого французского эмигранта Яна Петра Норблина, из мастерской которого, кстати, вышел Александр Осипович Орловский, восхищавший нашего Пушкина («Бери свой быстрый карандаш, рисуй, Орловский, ночь и сечу»). Среди сохранившихся работ Рустема особое внимание обращает на себя его выразительный, яркий автопортрет, на котором художник представлен в алой турецкой феске. Полотно подтверждает действительно громадный талант своего создателя.

Основательную подготовку в университетской студии Рустема получили многие будущие художники, среди них и Валенты Ванькович, мастер первой величины, впоследствии окончивший Петербургскую академию художеств. Закадычный друг поэта Мицкевича, Ванькович сотворил его романтическое подобие на фоне восхитительного крымского пейзажа, исполнил загадочно исчезнувший впоследствии портрет Александра Сергеевича Пушкина, с которым он тоже находился в теплых, дружеских отношениях.

По всеобщему мнению современников, Ян Рустем был очень приветливым, отзывчивым человеком, прекрасно помнившим собственное сиротство и свой тяжкий путь в большое искусство. Однако это не означает, что в его мастерскую мог запросто попасть какой–то безвестный, посторонний юноша, к тому же — крепостной крестьянский отпрыск. В империи Николая I существовали жесткие порядки, каждый знал предназначенное ему место. Для посещения университета требовались специальные билеты, о которых безродному сироте нечего было даже мечтать.

Как предполагают исследователи, Тараса выручило доброе отношение к нему супруги Павла Васильевича, Софьи Григорьевны. Впрочем, Павел Васильевич и сам не прочь был похвастаться перед друзьями–офицерами тем, что располагает дельным комнатным живописцем. Потребные документы были получены, скорее всего, при помощи временно осевших в Вильне братьев Кукольников, один из которых, Павел Васильевич, преподавал в университете, второй, Платон Васильевич, подвизался там

в должности ответственного чиновника, а третий, самый младший, Нестор Васильевич, выпускник Нежинского лицея и однокашник Гоголя, служил в университетской гимназии. Все три брата запросто были вхожи в дом Энгельгардтов, все они были очарованы красотою Софьи Григорьевны.

Надо полагать, Шевченко с удовольствием посещал занятия в студии и многому на них научился. Годы спустя, в дневниковых заметках и письмах, он с благодарностью вспомнит максимы стареющего наставника, не устававшего повторять своим подопечным, что основой *wszelkiego malarstwa* (всяческой живописи) является выверенный рисунок.

Очевидно, авторитет Рустема, удостоенного ордена святой Анны (1830), подействовал не только на Энгельгардта. Есть даже некие сведения, что добрейший старик, удостоверившись в способностях нового ученика, писал о нем в Петербург, убеждая своего знакомца, графа Матвея Юрьевича Виельгорского, посодействовать юноше в избавлении от крепостной зависимости.

По утверждениям историка Николая Костомарова, а равно и других, весьма близких к Шевченко людей, Шевченко побывал тогда и в Варшаве, о чем Костомаров слышал от самого Тараса Григорьевича. Киевскому послу в современной Польше, известному украинскому поэту Дмитру Павлычко, удалось доказать варшавянам, что данное утверждение вполне соответствует истине, и добиться от них в 2002 году открытия памятника Шевченко. Великий Кобзарь на берегах польской Вислы представлен в бронзе в том самом возрасте, в каком он действительно мог посетить Варшаву.

Но указанное посещение, если оно и состоялось на самом деле, припадало на 1831 год, когда польские земли, а равно и литовский город Вильно, захлестнуло восстание против царской власти, обернувшееся детронизацией Николая I с польского престола. Главной причиной народного возмущения стала попытка русского императора послать своих гренадеров для подавления парижской революции, а также и то, что в числе этих войск предполагалось отправить польские полки.

Восстание вспыхнуло в ноябре 1830 года. Взбудораженные варшавяне атаковали резиденцию царского наместника, великого князя Константина Павловича, но не смогли захватить его в плен, как замышлялось. Великий князь, пренебрегший царской короной из–за любви к прекрасной польке Иоанне Грудзинской, будучи к тому же явным полонофилом, медлил с применением силы, стараясь вообще избежать кровавых эксцессов. В результате воинские формирования поляков перешли на сторону восставших, и дело стало принимать довольно серьезный оборот. Престарелый генерал–губернатор Римский–Корса-

ков явно не годился на роль усмирителя, его пришлось убирать, а главное командование армией поручить фельдмаршалу Ивану Ивановичу Дибичу, немцу по национальности.

Конечно, волны восстания мгновенно докатились до чуткой литовской Вильны. Нормальное функционирование университета и студии Яна Рустема в таких условиях выглядело совершенно невозможным. Вместе с тем, Тарас ощущал себя на взлете уже не только по причине осуществившейся наконец мечты обучаться живописи почти что по–настоящему. В Вильне, по личному его утверждению, он впервые почувствовал себя независимым человеком и «пришел тогда к мысли, отчего и нам, несчастным крепакам, не быть такими же людьми, как и прочие свободные сословия». Первопричиной подобных ощущений и источником чувств, нахлынувших на казацкого потомка, стала польская чернобровая девушка Ядвига Гусиковская. Очарованный ее типично славянской внешностью, напоминавшей оставленную в Кирилловке другую девчушку, Оксану Коваленко, его детскую симпатию, — он называл Гусиковскую Ядзюней, Дзюней, затем просто Дуней и вспомнил о ней на страницах своего дневника в 1857 году, в преддверии освобождения от постылой солдатчины.

Юная полька, будучи первоклассной швеей, исполнявшей, очевидно, заказы Софьи Григорьевны Энгельгардт, оказалась к тому же страстной поклонницей поэзии Адама Мицкевича, недавно освобожденного из ссылки в России, а теперь путешествовавшего по странам Западной Европы. Своим восхищением она сумела заразить и влюбленного в нее Тараса, вопреки его предубежденности против всех поляков. Надо сказать, что Шевченко, после длительного общения с Яном Дымовским и после пребывания в качестве казачка в Ольшаной, и без того уже твердо владел разговорной польской речью. Теперь же, благодаря дружбе с Гусиковской, он мог проникать во все тонкости высокой поэзии.

В семействе Энгельгардтов польский язык звучал наравне с французским и русским. Кстати, в Вильне Тарас получил познания и во французской речи, поскольку в подчинении у Софьи Григорьевны находилась некая француженка, приставленная к ее малолетним детям.

Когда занятия в университетской студии прекратились окончательно, Тарас, по всей вероятности, настоял на том, чтобы Павел Васильевич отправил его в Варшаву, к кому–то из представителей семейства художников Лампи. Но к кому из сыновей Иоганна–Батиста Лампи–старшего, наводнивших европейские столицы своими весьма удачными живописными портретами, был направлен кирилловский отрок, трудно сказать — очевидно, к Францу, постоянно проживавшему в Варшаве начиная с 1815 года.